

Иво ПОСПИШИЛ
(Брно)

К традиции брненского стиховедения и специфике русской поэзии

**On the Tradition of the Brno Theory of Verse and the Specific
Features of Russian Poetry**

At the beginning of his contribution the author mentions the two conferences dealing with verse theory held in Brno towards the end of the 1960s. He accentuates the global, complex character of the conferences taking place in the period of the increasing interest in immanent, quantitative methods connected in the Czechoslovakia of that time with the name of Jiří Levý, an expert in English and Czech studies, theorist of verse and translation as well as of the methods of literary criticism. The conferences declared the interest of literary scholars, linguists, literary historians, specialists in poetology etc. While this tradition continued in the world, in the Czech cultural environment it was gradually disappearing. The aim of the new Brno regular workshops focused on Russian poetry does not consist in the complex analysis of formal aspects of poetry in general and the verse theory in particular, but the entire problem of Russian poetry observed from different angles including the subject, genre, poetics, and others. The specific features of Russian poetry are demonstrated on the example of the two language strata in spoken and written Russian and in the poetic Russian language which thus preserved its multidimensional quality that has rare parallels in other national poetries - the presence of Old Church Slavonic giving birth to ambiguity of Russian verse in general.

Я не стану начинать *ad fontes*; речь пойдет о традиции, которая начала формироваться в чешской среде в преемственной связи с развитием в период 19 – начала 20 вв., и особенно со структуралистской концепцией приблизительно после 1963 г. Впрочем, брненская славянская филология составляла хорошую базу для Пражского лингвистического кружка между Прагой и Брно, или Братиславой и Веной, уже в междувоенный период, и здесь, помимо новой лингвистики и литературоведения, уже с момента основания Университета им. Масарика шла активная и оживленная личная деятельность ученых (среди них Арне Новак, Николай Дурново, Богуслав Гавранек, Франк Воллман, начиная с 1933 г. в Брно постоянно трудился Роман Якобсон¹).

У истоков нового витка развития брненского стиховедения стоят две работы Йозефа Грабака, а именно *Staropolský verš ve srovnání se staročeským* (Pražský lingvistický kroužek, 1937) и *Smilova škola: rozbor básnické struktury* (1941, *Jednota českých matematiků a fyziků, Studie pražského lingvistického kroužku*). Интерес к явлению стиха, существовавший в брненском университете, не исчез и впоследствии – это доказали романист Отакар Левый в книге о Бодлере (*Baudelaire, jeho estetika a technika*. Masarykova universita, Brno 1947, Eikon Hudlice 1997) и англист Карел Штепаник (*Básnické dílo Johna Keatse*, 1957). Именно в этих исследованиях проявляется постепенный уход от чистого, формально понятого стиховедения в направлении к более широкому пониманию стиха – то есть постановка стиховедения в ряд более обширных комплексов проблем (см. наше введение), в том числе включение стиховедения в историю литературы. Следовательно, можно сделать глобальное заключение, что чешские труды о стихе всегда создавались, по сути своей, под знаком взаимосвязей стиха в смысле историческом, теоретическом, но также и поэтологическом, переводческом или транслатологическом.

Период 60-х гг.: в чешской среде утвердивший связь, прежде всего, со структурализмом, в СССР – с русским формализмом и чешским и французским структурализмом на известном совещании в Горьком (ныне вновь Нижний Новгород), чей *spiritus agens* Юрий Михайлович Лотман затем основал знаменитую Тартускую, или Тартуско-московскую школу, а в Германии Карл Аймермахер позднее опубликует в едином издании *Тексты советского литературоведческого структурализма* (*Texte des sowjetischen literaturwissenschaftlichen Strukturalismus*. Wilhelm Fink Verlag, München 1971).

¹ Он еще до этого опубликовал две свои работы, значение которых было ключевым вообще, а для чешской среды – в особенности: *Новейшая русская поэзия*. Набросок 1. Прага 1921; *О чешском стихе*, преимущественно в сопоставлении с русским. Берлин 1923.

К традиции брненского стиховедения

Сильнее, чем могло бы показаться, дальнейшее развитие чешского стиховедения было связано не только с движением в направлении все большей точности литературоведения, уходящего от иллюстрации господствующей идеологии, но прежде всего с метаморфозами конкретной политики. Не удивительно, что две крупные конференции, посвященные стиху, состоялись в Брно не раньше, чем после 1963 г., года «великого переворота». Это был перелом, эпохальность которого (хотя речь шла о перевороте якобы в рамках одной политической системы) сможет осознать лишь последующее поколение глубоко в 21 веке, привел к небывалой конъюнктуре автономного, но при этом радостного, освобожденного, созидательного мышления. Наука была – вероятно, после популярной музыки – первой наиболее подходящей областью для реализации нового направления. В это же время восходит звезда поэта, переводчика поэзии (среди них Збигнев Герберт, Чеслав Милош, Рудольф Фабры, Анатолий Парпара), стиховеда и издателя Мирослава Червенки (1932–2005), который в период 60–90-х гг. 20 в. (в том числе во время вынужденного молчания, прерываемого официальным изданием переводов под чужими именами), помимо Йозефа Грабака и Йиржи Левого, а также некоторых других, доминирует в чешской теории стиха.²

Первая международная конференция в Брно проходила с 13 по 16 мая 1964 г., сборник вышел в 1966 г.³ В предисловии, которое сформулировал Й. Грабак, среди прочего, говорится: “Účelem konference bylo tedy především obhlédnutí pracovního terénu. Za tím účelem bylo jednání konference rozčleněno do těchto hlavních tematických okruhů: 1. verš a jazyk, 2. otázky srovnávací veršifikace, 3. verš a význam, 4. z historické poetiky české a slovenské, 5. k aplikaci matematických metod.”⁴ Уже здесь выкристаллизовались два подхода, представленные Йиржи Левым и Йозефом Грабаком. Грабак, начавший свой творческий путь работами в Пражском лингвистическом кружке, старался ввести стиховедение в более широкий литературно-исторический круг и в сферу взаимозависимостей; Левый скорее ориентировался на специфические воп-

² См. его работы: *Český volný verš let devadesátých. Ústav pro českou literaturu ČSAV, Praha 1961. Dějiny českého volného verše. Host, Brno 2001. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Torst, Praha 2002. Fikční světy lyriky. Paseka, Litomyšl 2003. Březinovské studie. Paseka, Litomyšl 2006. См. также его издания: Otokar Březina: Nebezpečí sklízně. Čs. spisovatel, Praha 1968. Jiří Levý: Bude literární věda exaktní vědou? Čs. spisovatel, Praha 1971. Roman Jakobson: Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995. Spolusestavovatel: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Host, Brno 2001. Spolupřekladatel: V. J. Propp: Morfologie pohádky a jiné studie. H&H, Jinočany 2008.*

³ *Teorie verše I. Theory of Verse I. Теория стиха I. Universita J. E. Purkyně, Brno 1966. Red. Jiří Levý.*

⁴ Там же, с. 5.

росы и на новые методы, подходы и результаты, в большей мере склонялся к технологии стиха и статистическим и математическим методам, т.е. к точности теории стиха и, в то же время, всего литературоведения как такового. Примечателен тематический диапазон конференции и ее опубликованных результатов, но в первую очередь значителен диапазон участников, включающий в себя лингвистов, литературных историков, теоретиков перевода, фольклористов – а также международный в данных масштабах характер события, участие не только чешских, но и словацких, польских, русских, немецких (из ГДР и ФРГ) и румынских специалистов, хотя и не все из них приняли участие в создании сборника. Статьи написаны на разных языках с обширными английскими, русскими, в некоторых случаях чешскими резюме (английские резюме составила известная брненская англичка Джесси Коцманова).

Раздел *Verš a jazyk (Стих и язык)* открывает основополагающая англоязычная статья Йозефа Грабака *The Retrogressive Theory of Verse* (с. 9–21). По мнению автора, теорию стиха необходимо выстраивать ретроспективно, т.е. от новейших явлений к наиболее старшим, т.е. прямо противоположно тому, как это мыслилось и делалось до сих пор. Основу специфики стиха он видит в его своеобразной сегментации: нормированное число слогов, стоп или ударений, таким образом, является знаком, подчеркивающим сегментацию, а не собственно сущностью стиха. Словак Виктор Кохол в статье *Sylabizmus a tonizmus* (23–31) рассматривает русские тонированные переводные субституции чешского силлабо-тонического и словацкого возрожденческого силлабического стиха. Лингвист и специалист по стилю Милан Елинек анализирует порядок слов в чешской поэзии того времени (В. Незвал, Й. Гора, Ф. Галас, В. Голан, М. Флориан, *Poslední máj* Милана Кундера, Иво Флейшманн, Йозеф Каинар, Ярмила Глазарова, Карел Шиктанц, Олдржих Микулашек, Ян Скацел), уже тогда отталкиваясь от исследований брненского англиста мирового значения Яна Фирбаса, а также В. Матезиуса, Ф. Копечного и Ф. Данеша. Здесь интересны две вещи: как Елинек выбирает поэтические примеры из разных поколений, что придает им репрезентативности; как здесь ярко проявляется поэтическая «моравица» (по происхождению Незвал, Галас, М. Кундера, собственно, и Каинар, Микулашек, Скацел, тесно связанный с Южной Моравией Флориан), а с точки зрения метафорически понимаемой грабаковской ретроспективной теории – с определенной дистанции – эти поэтические личности проявляли себя в политической жизни в чешской среде настолько переменчиво и полярно, насколько это возможно, практически в течение последних шестидесяти лет. Их судьбы и политические позиции демонстрируют это более чем убедительно.

Лингвист-синтаксист *par excellence* (что развилось, в особенности, в последние годы) Мирослав Грепл здесь пишет о фразировании стиха, в том

К традиции брненского стиховедения

числе на материале чешской классики и модернизма и авангардизма, в работе *Frázování a verš* (47–53). Стоит упомянуть, что Грепл намного позднее был одним из рецензентов ключевой чешской книги о метафоре, написанной Павелкой⁵. Романист и фонетист Б. Онезорг пишет о детском стихе (он так же, как и его ученица Ярослава Пачесова, занимался изучением детской речи – см. поздние труды Якобсона на эту тему) во французском исследовании *Le Vers enfantin* (55–59).

В разделе *Otázky srovnávací versifikace* (*Вопросы сравнительной версификации*) полячка Мария Длуска пишет о строфике (63–79), пражанин Мирослав Бецк в своей работе *Bemerkungen zur vergleichenden Metrik*, написанной на немецком языке, обращает внимание на соотношение ритма стиха и фонологии предложения в связи с гетеросиллабическими тактами (81–85). Романист из г. Оломоуц Йозеф Квапил касается в своей статье версификации в романских языках (*En marge du système de versification dans les langues romanes*, 87–94), москвич Александр Позднеев анализирует русский стих 15 и 18 вв., что само по себе довольно знаменательно, ибо о древнерусской поэзии говорится не слишком много (95–108). Переводчик и стилист Богуслав Илек исследует рифму в советской поэзии, брненский русист Ярослав Буриан анализирует цитирование фольклорных жанров в советской поэзии и их чешские переводы.

Основополагающей частью является раздел *Verš a význam* (*Стих и значение*), открытый исследованием Йиржи Левого *Preliminaries to an Analysis of the Semantic Functions of Verse* (127–141). Его статья, как представляет его сам автор, скорее направлена на уточнение размышлений о стихе и значении и исходит из разделения акустических элементов, т.е. из их символического действия, степени знакового значения, характера сигнала, – но содержит в себе и генезис, мотивацию, индексность, символичность и иконичность стихового знака. Интересны и словацкие статьи теоретиков и практических переводчиков (Вильям Турчаны, Ян Бржезина); о метрической системе «маевцев» пишет уже упоминаемый Мирослав Червенка; на основе произведений Неруды, Сейферта и Галаса структуру стиха и способ изображения действительности изучает историк литературы из г. Оломоуц Гана Ехова (позднее Вуазин-Ехова, профессор Сорбонны). Либор Штукавец, в течение многих лет являющийся директором Центральной библиотеки Философского факультета в Брно, англист и скандинавист, изучает синтаксис вольного стиха, в особенности, на примере поэзии Яна Скацела; Мария Иванова-Шалингова анализирует стихотворение В. Мигалика *Hrzavý plameň* с точки зрения семантического построения (185–188). В разделе *Z historické poetiky české a slovenské* (*Из чешской и словацкой исторической поэтики*) выделяется статья

⁵ J. Pavelka: *Anatomie metafory*. Blok, Brno 1982.

Карела Горалека, который исследует взаимосвязи между стихотворными системами в фольклоре (191–194). Заслуживает внимания работа Зденьки Тихой (древнечешский безразмерный стих), Франтишека Свейковского (безразмерный стих гуситского периода), Богуслава Бенеша (ярмарочная поэзия) и Артура Заводского (три просодии у Ф.Л. Челаковского). Будто бы маргинально здесь выступает последний раздел *K aplikaci matematických metod (К применению математических методов)*, которому суждено было впоследствии стать доминантным (Яна Климентова, Роберт Штуковский, Габриэль Альтманн, Йозеф Грабак).

Второй том **Teorie verše II**⁶ включает в себя статьи с конференции, проходившей с 18 по 20 октября вновь в актовом зале Философского факультета Университета им. Я. Э. Пуркине в Брно. Развитие ситуации во внутренней политике, о которой уже было сказано, отразилось здесь в большем количестве зарубежных статей и большей свободе мысли при выборе тем, где раздел *Matematický rozbor verše (Математический анализ стиха)* включен уже вторым. Хотя остаются и традиционные разделы, такие, как *Sémantika verše (Семантика стиха)*, где представлены работы Карела Гаусенбласа, Светозара Петровича из Загреба, Йозефа Грабака, Павла Троста и Марии Ивановой-Шалинговой, однако доминирует математический анализ стиха в статьях Гельмута Людтека (Feiburg im Br.), Мирослава Червенки и Кветы Сгалловой (вероятностная модель чешского стиха) и, конечно, Йиржи Левого (он скончался еще до выхода в свет этого сборника) и Карела Палы (генерирование стихов). Менее существенна здесь также сравнительная метрика с интересным сопоставлением грузинского и английского стиха, принадлежащим перу Гиви Гачечиладзе. В разделе о чешском и словацком стихе Милан Елинек исследует выделение синтаксической когеренции в чешской поэзии нового времени; интересные статьи о старшем периоде опять же представили Зденька Тиха и Франтишек Свейковский, Квета Сгаллова и Гана Ехова. Структуру стиха изучает Карел Горалек (*Věta a verš*), Виктор Кохол (*Syntax a metrum*), Зора Валкова (ритмические структуры словацких конкретистов) и др.

Кроме сдвига в направлении к «точности», о котором уже было сказано выше, здесь можно обнаружить и смещение от классического материала к современному, в зависимости от развития поэзии чешской и словацкой во второй половине 50-х гг., когда появился ряд новых индивидуальных и групповых поэтик, радикально освобождающихся из-под влияния нормативной эстетики социалистического реализма. Тем не менее, при этом не разрушаются и традиционные отрасли: в особенности в Брно сильна компаративистика в широком смысле слова, в данном случае – сравнительная метрика и

⁶ Teorie verše II. Theory of Verse II. Теория стиха II. Universita J. E. Purkyně, Brno 1968, red. Jiří Levý a Karel Palas.

К традиции брненского стиховедения

воллмановская эйдология, сказывающаяся на исследовании структур стиха; точно так же набирает силу «моравика», т.е. материал моравской поэзии.

Кроме склонности к математическим и статистическим методам в стиховедении заметен интерес к округам, кажущимся периферическими, которые могли стать почти доминантными: детская речь, соотношение обиходного языка и стиха, стих и фразирование, моделирование и генерирование стиха (импульс задан Н. Хомским и его *Syntactic Structures*). Основным ответом является то, что стих, собственно говоря, закодирован уже в проявлениях обиходного языка и речи; стих постоянно ограничивается от повседневной языковой коммуникации; стих, таким образом, есть нечто существенное в самой системе языка.

Стиховедение всегда было «парадной» дисциплиной русского литературоведения. В последнее время его изучению, основываясь на русском формализме и преодолевая его, посвящали свою деятельность, среди прочих, Михаил Гаспаров (1935–2005)⁷ и Ефим Эткинд (1918–1999)⁸. Русская поэзия прошла иной путь развития, чем чешская; она развилась позднее и скорее скрыто, затем под сильным влиянием западноевропейского стиховедения, зачастую через посредство польской силлабической поэзии, соперничавшей с тоническими тенденциями; здесь существуют иные доминантные метры, иные возможности рифмы, о которой писал когда-то Виктор Жирмунский, – за счет динамического, подвижного ударения и редукции; язык русской поэзии также является заметно более богатым вследствие сложного и долгого процесса устранения диглоссии, которая, тем не менее, до известной степени сохранилась именно в языке русской поэзии. Об этом мы когда-то писали в связи с диахроническим аспектом русского литературного текста.⁹

Виктор Жижов написал блестящую статью в международный мультидисциплинарный сборник о русском 18-м столетии *Формирование норм русского литературного языка нового типа и их предьстория*.¹⁰ Он отказывается от

⁷ М. Гаспаров: „Близнец в тучах“ Бориса Патернака: опыт комментария. Российский государственный университет, Москва 2005. Тот же (ред.): Москва и „Москва“ Андрея Белого. Российский государственный университет, Москва 1999.

⁸ Е. Эткинд: Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. „Наука“, Ленинград 1973. Тот же: Мастера поэтического перевода: XX век. Академический проект, Санкт-Петербург 1997. Тот же: Материя стиха. Гуманитарный союз, Санкт-Петербург 1998. Тот же: „Внутренний человек“ и внешняя речь: очерки психоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. „Языки русской культуры“, Москва 1998. Тот же: Психоэтика: „Внутренний человек“ и внешняя речь: статьи и исследования. „Искусство“, Санкт-Петербург 2005.

⁹ I. Pospíšil: Diachronní dimenze ruského literárního textu (Puškin – Bondarev – Grjkalov). In: K. Lepilová a kol.: Text a kontext. Brno 2008, s. 86–107.

¹⁰ In: Reflections on Russia in the Eighteenth Century. Edited by Joachim Klein, Simon Dixon and Maarten Fraanje. Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2001, s. 377–398. Viz

традиционного вопроса о русской диглоссии и связывает формирование русского литературного языка в 18 веке с давлением западноевропейских представлений: „Языковой материал, ранее распределенный по регистрам, оказался объединенным в единый пул, который и подвергается ревизии и перебору. Первым шагом было выбрасывание из него тех формальных, прежде всего морфологических элементов, которые однозначно соотносились со старым книжным языком [...] Сама идея языкового стандарта была идеей европейской, принадлежавшей модернизирующему дискурсу европейского абсолютизма. В этом контексте понятно, что принципы отбора языкового материала диктовались ориентацией на другие ‚культурные‘ языки Европы.“¹¹

На основании некоторого опыта я полагаю, что более широкий репертуар «бесполезных» средств и сегодня остается в распоряжении русского говорящего, и вдвойне – поэта. Под выражением «диахронический аспект литературного текста» здесь понималось наличие «языка в языке», т.е. прониновение через современный русский литературный язык к самым его глубинам, где он создавался первоначально из двух языковых структур, т.е. из письменного, литературного старославянского, или церковнославянского языка, и общевосточнославянского языка, гипотетического общего источника для восточнославянских диалектов и, позднее, языков. Хотя эта диглоссия, сохранявшаяся *de facto* до конца 18 века, а порой и дольше, или постепенная интеграция, так что, например, язык древнерусской литературы может называться церковнославянским языком восточнославянской редакции или иногда древнерусским языком, сквозит и сегодня в тексте, сложенном по преимуществу на современном русском языке (ибо церковнославянские по происхождению слова, т. е. слова югославянские, в современном русском языке сохранили свою стилистическую действенность и на сегодняшний день, см., например, *молочный – млечный, просвечу – просвещу, Печора*, т.е. подводная река, *пещера* и т.д.); одновременно это, однако, слова, понимаемые как часть чужого, возвышенного языка, которые уже не являются частью современного русского языка, но вписываются в него, являясь как бы его зеркалом, образом духовности, единением с сакральными текстами, с Богом. Близость слов, общие корни создают некий двойственный образ, то есть слова в их повседневности и слова в их возвышенности, слова из здешнего и из иного мира. Они, следовательно, представляют собой языковой срез, который не должен быть непосредственно частью современной поэтического или ли-

rec.: I. Pospíšil: Reflections on Russia in the Eighteenth Century. Edited by Joachim Klein, Simon Dixon and Maarten Fraanje, Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 2001. *Slavia Orientalis*, tom LI, nr. 3, 2002., s. 473–477.

11 Reflections on Russia in the Eighteenth Century. Edited by Joachim Klein, Simon Dixon and Maarten Fraanje. Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2001, s. 397.

К традиции брненского стиховедения

тературного русского языка, но можно использовать его в смысле этическом или, пожалуй, даже религиозном.

В цитируемой статье мы указали несколько примеров стилистической широты поэтического русского языка, приносящей с собой и иные ритмические возможности и новое соотношение между языковым знаком и значением в поэтической структуре: речь идет о стихотворении А. С. Пушкина, изначально называвшемся *Отрывок* (позднее оно чаще выходило с названием по первым строкам *Вновь я посетил...*). Ее основным содержанием являются «воспоминания о воспоминаниях»: тридцатилетний Пушкин вспоминает, как в 1824–1826 гг. он вспоминал о своем пребывании на юге Российской империи. Первоначальным намерением было написать некое биографическое признание, обширное лироэпическое стихотворение, которое обрисовывало бы жизнь Пушкина, стихотворение элегическо-идиллического характера. От этого остался лишь фрагмент, т.е. «отрывок» – тем не менее, фрагмент на удивление целостный, гомогенный. Основной рефлексивный сюжет построен на контрасте настоящего (времени высказывания) и прошлого (воспоминания).

Тематическо-жанровая связность в стихотворении обоснована наличием любовных мотивов, биологического продолжения, а также природного пейзажа: синее море, зеленый луг, золотое пшеничное поле. Реминисцентный, рефлексивный характер стихотворения выражен с помощью контраста между устным характером одного слоя стихотворения и старославянской лексикой другой части: рядом с рефлексивными, гномическими отрезками, где преобладает современный русский язык, находим те отрезки, где появляются архаизмы как метатеза регулярного полногласия, среди них, например, *златый, берега, глава, младая, пред*, многократный глагол *сиживал*, глагол *вспомянуть* и т.п. Тематическое объединение, т.е. широко развернутая синтагма, способность рефлексивной поэзии интегрировать иные типы поэтического высказывания, дополнена глубинным, парадигматическим проникновением в недра языка, в прошлое, в молодость.

Приведем также другой пример, из *Евгения Онегина* (глава третья, строфа XVI):

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...

Настанет ночь; луна обходит
 Дозором дальный свод небес,
 И соловей во мгле деревьев
 Напевы звучные заводит.
 Татьяна в темноте не спит
 И тихо с няней говорит:

Это, а также ряд других мест в этом повествовательном стихотворении, считающемся – так, как его обозначил Пушкин и чем сам его считал – романом в стихах, указывает на иронию, даже злую иронию, сарказм; он, вероятно, подобен тому, который использует в *Мая* спутник Пушкина К.Г. Маха: и *Евгений Онегин* порой плоско воспринимается как любовные стихи о напрасной любви Татьяны к Онегину, а затем Онегина к Татьяне, так же, как *Май* – это якобы типичное любовное стихотворение, о любви к женщине, а также о любви к родине: и то, и другое, однако, миф (любовь, скорее, горько и зло высмеивается, любовь к стране – это скорее любовь к земле, в которую все возвращается, а вовсе не к родине). Пушкин здесь представляет картину влюбленности в виде клише: рядом с физиологически переживаемым чувством, у которого есть свои психосоматические следствия (так же, как в Песне песней из Ветхого Завета) стоит застывшее клише луны и соловья, подчеркнутое как раз этой диахронной языковой линией:

Дыханье замерло в устах,
 И в слухе шум, и блеск в очах...
 Настанет ночь; луна обходит
 Дозором дальный свод небес,
 И соловей во мгле деревьев.

Ярко выражена сильная концентрация старославянизмов (*уста, очах, небес, мгле деревьев*), перед этим – *ланиты*. Очевидно, что это несет в себе двойственное значение: с одной стороны, насмешка над клише, при этом – проявленное физиологически чувство, классицистическая скованность – по сравнению с романтическим подъемом, но одновременно – амбивалентная возвышенность чувства, так сказать, сакрального, выражаемого вышеназванными старославянизмами: ими в русском языке можно играть и придавать им различные, часто двойственные значения.

С этим не удалось справиться даже лучшим чешским поэтам и переводчикам (чешский язык и не предоставляет им для этого достаточно компенсационных возможностей), причем «лучший» в данном случае значит не «новейший» Милан Дворжак, а, кроме классика перевода Йозефа Горы, скорее, Ольга Машкова, отодвигаемая некоторыми на второй план. Скрытая,

К традиции брненского стиховедения

приглушенная, постоянно прорезающаяся диглоссия внутри современного русского языка не является спецификой поэзии, хотя именно здесь – и это вполне объяснимо – она проявляется сильнее всего. Она помогает сохранять в русской поэзии напряженность между банализацией, прозаизацией, «обуднением» русского стиха, его постоянной реакцией на развитие языка как системы и речи как его реализации – но также и его столь же постоянным удалением от обиходного коммуникативного узуса – к магической возвышенности, «надземности», голосу «иного мира», вечности. В то время как чешский язык идет в направлении поэтизации обиходно-языковой коммуникации, русский эту напряженность удерживает именно благодаря наличию данного стилистического пласта в языке. Я бы сказал, что именно это преумножает ее выразительный и смысловой потенциал, а также дистанцию между чешским и русским стихом в смысле их ритмических и семантических знаков.

